

## Когда я стану взрослой...

В какой момент мысленно произносишь эту фразу впервые? О чём таком сильно беспокоящем или недостижимо-желанном думаешь? Я точно не помню. Про мороженое и конфеты? Их в моём детстве было достаточно, а если было меньше, чем требовалось, то я всё равно считала ограничения родителей правильными. Игрушки были как у всех, лет с шести более интересными стали настольные развивающие игры: самая любимая – зоологическая викторина. Жёсткая коробка имела двойное дно, где пряталась электрическая схема, и, если ты правильно угадывал название животного, его среду обитания, приложив электроды, можно было увидеть загорающуюся маленькую лампочку. Чудо, которое ты сотворил сам, и радость победы. Ещё было лото! Играли всей семьёй, выкрикивая прозвища для цифр: 11 – «барабанные палочки», 33 – «богатыри», 12 – «дюжина». А рисованные куклы и наряды для них!? Позже одежка для маленьких пупсов, сшитая самостоятельно, – повод для гордости.

Может, мне хотелось стать взрослой в ту минуту, когда младшую сестру надо брать всюду с собой, а не хочется? Так я же понимала, что, когда стану взрослой, она тоже вырастет. Вот одно детское, «когда я стану взрослой», было точно: никогда не буду спать днем! А вот в отношении самих взрослых? Что ж меня не устраивало? Что хотелось улучшить в своём будущем, что подкорректировать? Меня любили. Или память вытолкнула негатив? Самый страшный детский опыт – опыт унижения, ощущение стыда без понимания вины. Вот! И именно с этим связан дневной сон.

Воспитательница водила меня в подвал за то, что я не сплю. Это было однажды, но помню всё в деталях по сей день. Отодвинув мою раскладушку в угол, «чтоб не с кем было болтать», она периодически спрашивала: «Ты ещё не спишь?» Потом, когда все встали, отвела меня в подвал, показывала на старые матрасы, сложенные стопкой, где я буду спать, а я представляла, как крысы грызут матрасы и добираются до меня. Но не этот страх пролился жгучими слезами, а опыт унижения. В подвале работали электрики, и прошение просить при незнакомых было стыдно. И наверное, своим детским умишком я понимала, что наказывают в общем-то НИ ЗА ЧТО. Это и оскорбляло моё уже взрослое достоинство. Я, конечно, ни о чём не сообщила маме. И позже, когда эта история всплыла в моей памяти, на вопрос мамы «Почему ты не рассказала, ты боялась моего непонимания?» я не нашлась, что ответить. Пожалуй, просто верила в правоту и непогрешимость взрослых. Иерархичность в процессе воспитания...

То, чего давно нет...

## Бабка Семыкина

Мой калейдоскоп памяти выдает временами яркие обрывочные картинки из детства. Та, которую отчётливо можно идентифицировать по дате – поступление в детский сад: меня не хотели брать, потому, что на 1 сентября не было трёх лет, только два года и восемь месяцев. Но беседа со мной,



по рассказам мамы, убедила заведующую в моей готовности к детскому учреждению. Я же помню старинное здание, крыльцо со львами, красную ковровую дорожку с зелёным орнаментом по краям в кабинете и высокий стул, на который меня усадили. Я даже потом в юности нашла этот особняк на улице Тельмана.

И ещё довольно ранние воспоминания, думаю, тоже до трёх лет (в сад ещё не ходила): я в лёгком пальтишке одна посреди двора, брожу под окнами в послеобеденное время. Во дворе нашего четырёхэтажного дома вообще никого нет из двух имеющихся подъездов. Взрослые на работе или заняты домашними хлопотами, школьники на учебных занятиях, малышня спит после обеда. А я никогда не спала, несмотря на свой покладистый характер, как уверяли домашние. И мама, уговаривая меня хотя бы прилечь, показывала в окно пустой двор: «Видишь, там никого нет». Но я упрямо отправлялась на площадку. Одна.

Только иногда на скамейке восседала бабка Семыкина. Бабка Семыкина, по моим тогдашним представлениям, не могла сама забраться на скамейку, об этом говорили её болтающиеся ноги в истоптанных тапках, не достающие до земли, и вся она, напоминающая пельменное тесто или блудного колобка до выпечки. Кто-то непременно должен был усадить её на скамейку, но этой картины мне видеть не довелось, поэтому я хотела застать обратный процесс и стояла рядом, наблюдая маятники коротких ножек. Если кто-то выбегающий из подъезда здоровался с ней, она отвечала почти всегда одинаково: «Богдаст». Мне было очень любопытно, но отчего-то стыдно спросить, кто этот «Богдаст».

Загадочность бабки Семыкиной с течением времени для меня усиливалась. Надо сказать, что в этой семье было три женщины разных поколений, но имён в моей памяти не сохранилось, всех звали по фамилии: бабка Семыкина, младшая – дочка Семыкина, и та, что между ними – просто Семыкина. Ещё был мальчишка дочки Семыкиной, чуть старше меня, тоже безымянный, но интересовавший меня мало. А вот вопрос, который меня волновал – это как у такой тестообразной бабки могло быть такое продолжение?

Дочка Семыкина была стройной черноволосой красавицей с собольими бровями и карими, почти чёрными, с неясной дымкой глазами, с какой-то тревожностью в лице, что меня просто завораживало. Было непонятно, куда она смотрит – на мир или в себя. И мне, крохе малолетней, чудилась в этом, наверное, какая-то сказочная тайна. Теперь я, возможно, её сравнила бы с Софи Лорен, или Татьяной Самойловой, или какой-то другой кинодивой. А тогда это была просто дочка Семыкина, проходящая по двору в тот момент, когда всё замирало и заглядывалось. Мамаши очень медленно вешали бельё на веревки, промахиваясь прищепками, костяшки домино зависали в руках играющих над дворовым столом, и даже девочки, прыгающие на скакалках, застывали над землёй в полёте.

Эти киноэффекты довольно часто используют режиссёры, но я-то это видела в жизни и именно так запомнила: проплывающую по тропинке дочку Семыкину и медленно качающиеся ножки

бабки Семькиной. Позже я отважилась на вопрос о непонятном «Богдаст», и бабка была вдруг словоохотлива и добра ко мне. Она поведала о Всевидящем и Всемогущем и любящем всех-всех, парящем над нами где-то там, за далью облаков и ярчайшего света, от которого слезились глаза.

Но потом сколько бы раз я ни запрокидывала голову, всегда видела одну и ту же картинку. На пушистом белом облаке при любой погоде восседала бабка Семькина и беззаботно болтала короткими ножками в штопанных тапках, которые, как я потом узнала, тачал мой дед-фронтовик (мамин отчим) из старых валенок для стариков нашего двора в небогатые послевоенные годы.

## Неродной дедушка

Сколько вспоминаю детство, в этих картинках всегда есть дедушка, дед Вася. Да и как ему там не быть, ведь он был моей нянькой и сиделкой, и товарищем по играм, и проводником в странный мир взрослых.

Надо пояснить, почему именно он меня нянчил. Бабушка отбывала наказание за преступление, которое по нынешним временам, наверное, называлось бы частной торговлей или индивидуальным предпринимательством. Работала она в организации, которая называлась Мортрансфлот, и по роду деятельности общалась с рыбодобытчиками. На судах во время удачной путины не всю рыбу удавалось заморозить или обработать до возвращения в порт. Точно не знаю, но небольшую часть, чтобы не пропадать добру, моряки солили в пяти- или трёхлитровых бочонках, что называется, для себя. Вот такой бочонок селёдки и купила моя бабушка у знакомого моряка, поставила попку на хранение в общем подвале, простодушно поделившись с кем-то из соседей. Время, когда да собранные в колхозном поле колоски можно было получить немалый срок, ушло не так уж далеко, и информация соседей «куда следует» привела бабушку «в места не столь отдалённые». Отсутствие её было недолгим, по-моему, около года, но пришлось именно на время моего рождения. Декретный период составлял всего два с половиной месяца, и мама вышла на работу, а посему с новорождённой в няньках оставался дедушка.

Вспомнилось, на одном из психологических тренингов было предложено нарисовать картинку семьи из раннего детства, какая всплывёт. Я увидела себя, стоящую посреди большой комнаты, а в уголке на низком табурете в тёмно-синих брюках-галифе сидел дедушка Вася и что-то мастерил, он всегда был чем-то занят. Кстати, эти брюки он тоже шил сам. Да, и по документам он был вовсе не Вася, а Давид Васильевич, но это я узнала позже. Имя Василий он заслужил на фронте за игру на гармошке, с которой не расставался, как герой Твардовского Василий Тёркин. Но как я, школьница, ни просила рассказать о его участии в войне, никогда не рассказывал, отвечая, что девочке этого знать не нужно, так он хотел защитить нас от всего страшного.

Невысокий, худощавый и очень застенчивый, по-моему, он мог всё. Не мог только просить для себя чего бы то ни было, никогда не пользовался ветеранским удостоверением и даже награды, находившие его ещё через много лет после войны, получать водила его в военкомат моя мама. Только теперь я сознаю, сколько талантов было отпущено этому скромному человеку или сколько старания он проявил, чтобы овладеть многими ремёслами. В Калининграде 1946-го многое надо было восстанавливать или развивать заново, но жили-то здесь и сейчас, и мой дед сам делал мебель. Шкафы, столы и комоды в комнате моего детства были его произведениями. Ещё он был прекрасным сапожником и, при сохранившейся тогда моде на всё военное, шил сапоги даже на заказ.

Любил он нас с сестрой самозабвенно, заступаясь перед родителями и выгораживая даже тогда, когда этого, может, и не следовало делать, неизменно повторяя: «Они больше не будут». И эта его святая вера в наше исправление, наверное, воздействовала больше, чем родительский гнев. Совершенно забавно выглядела сцена, когда мою повзрослевшую сестрицу распекала мама, и дедушка, вечный заступник, произнёс: «Полина, нельзя маленьких девочек ругать». Моей сестре, обладающей «модельным» ростом и стоящей на каблуках, он едва доставал до плеча. Отчего гнев сменился хохотом, он не мог взять в толк.

У нас была традиция, заведённая дедом Васей, – сладости в день полочки, а позже – с пенсии. Дед покупал каждой из нас по плитке шоколада и по килограмму «шиколадных», как он говорил, конфет. Сестра уплетала конфеты незамедлительно на радость деду, моя же экономность почему-то его обижала. И вот уже будучи студенткой, увидела я сон: дед приносит, как водится, два уве-

систых кулька и отдаёт их моей младшей сестре. На мой немой вопрос он так прокомментировал свои действия: «Раз ты брезгуешь моим подарком, то всё достанется сестре». Проснувшись я, великовозрастная дылда, в слезах, до такой степени это поведение дорогого человека казалось мне невозможным.

Ещё одной дедовской присказке я не могла долго найти объяснения. Не помню уж при каких случаях, но он иногда мог сказать: «Я ведь вам не родной». Наше недоумение, непонимание, аргумент «ты же нас вырастил» и протесты против такого утверждения он резюмировал: «Лисица сказала, что старый хлеб-соль забывается». Диалог этот повторялся не однажды. Мне было искренне непонятно происхождение этих дедовых мыслей, у нас с ним никогда не было конфликтов или ссор. И даже когда бабушка на него, подвыпившего в День Победы и усиленно эксплуатирующего любимую гармонь, ворчала и одёргивала, у нас он вызывал только тёплые чувства, даже сильно охмелевший.

Дед умер раньше бабушки, хоть и был моложе её на два года. Когда с ним случился удар и мы с сестрой, навещая его в больнице, перестилали постель, смущался до слёз. Ведь мы его, сухонького и сильно постаревшего, вдвоём буквально поднимали на руках, мы нянчили его, хоть и совсем недолго, как он нас когда-то. И я вспомнила про эту его лисицу и поняла. Говоря нам, что он не родной дед, он как бы заранее оправдывал наше возможное забвение по отношению к нему, снимая все претензии к внучкам. Он любил нас любых и прощал за всё, даже за то, чего мы совершить не успели.